

Идеология: пространство публичного и способность суждения*

Жизнь подобна играшам: иные приходят на них состязаться, иные – торговать, а самые лучшие приходят как зрители; так и в жизни иные, подобно рабам, рождаются жадными до славы и наживы, между тем как философы – до единственной только истины.

Пифагор

Идеология есть посредник между властью, культурой и обществом. Поэтому считать ее только инструментом политической борьбы или господства какой-то группы или класса неверно. Идеология отнюдь не совпадает со сферой политики, она гораздо шире и охватывает собой все общество и культуру. Это их общее информационное поле, мир идей, связанных не только с властью, но со всей жизнью общества. В страстях политической борьбы XIX–XX вв. ее свели к так называемым большим идеологиям (консерватизму, либерализму, социализму, фашизму). При этом исчез ее первоначальный смысл, предложенный А. де Траси, к которому стоит вернуться, а именно логика идей, знание о чем помогает управлению и просвещенному строю жизни. Может быть, стоит вернуться и еще дальше, к миру идей Платона, который точно лучше наших современников знал, как живут идеи, как устроен мир мысли. На современном языке можно говорить о едином информационном поле социума, причем идеология содержит как теоретическую часть, так и предписания, т. е. ей свойственна к тому же модальность должного. Идеи в этом общем поле существуют не как голые мысли (без *при-страстия*, к чему в принципе должна стремиться наука), а в оболочке чувств, желаний, одобряемых образцов поведения. Жизнь идей происходит не хаотично, просто порядок их соотношений и изменений очень сложен. Однако от идеологии и от

* Работа подготовлена в рамках проекта Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) «Культура и власть», грант № 12-03-00095.

ее сложности избавиться нельзя, да и не следует, ведь она не только борьба идей и интерпретаций. Поэтому, к примеру, не удастся «придумать» национальную идею для нашей страны, хотя бы в этом придумывании участвовали самые изобретательные умы. Самая простая из возможных идей была бы: Россия – великая страна. Конечно, кто же против. Но чтобы это так стало, было и осталось, надо знать, как и чем живет мир идей, мир мысли.

Считается, что время больших идеологий уже прошло. Появилась мода на антиидеологизм. Однако идеология просто ушла в тень, она не осознается. Теперь сама идеология вынуждена перелицовываться под идейный образ какого-нибудь из более частных институтов, скрывая свои универсалистские претензии. Она хочет выглядеть как наука (марксизм, например, выдавал себя за науку под видом политэкономии), как правосознание (диктатура закона), под видом религии (здесь пропитано ею почти все, начиная от «картины мира», морали и вплоть до так называемой симфонии светской и духовной властей), стоять позади искусства (под прикрытием выражения естественных чувств), или в обличье образования, под обложками школьных учебников и тетрадок, она управляет с экранов компьютеров и телевизоров становлением личности человека, дабы та не вышла из-под наблюдения коллективного разума. Информационное поле едино; формулировки и их интерпретации (идеология) разделяют его, создавая множество множеств, воюющих внутри себя и с целым. Но даже в облике этих частных проявлений идеология не может отказаться от своего универсального стиля; при всей полистилистике современной культуры притязания сохраняются; идеология всегда будет говорить о **единстве и общем благе** («Обнимитесь, миллионы!»). В этом смысле она есть аналог языка. Ведь язык и есть система идей, облакаемых в знаки для создания поля общения, публичного пространства, в котором и происходит общение. Разрушители языка разрушают и среду общения, «сажают» информационные вирусы на этом общем поле социума. Здесь самое непосредственное место идеологии. Здесь место всеобщим идеям и общим идолам. Она есть универсальный язык культуры, согласно П.Рикёру, суть ее жизни – борьба интерпретаций. Борьба за что? За символический капитал. Борьба поляризует информационное поле, в современ-

ном мире одним образом, в традиционном обществе – другим, но это не значит, что можно отменить само поле, если избавиться от той или иной поляризации.

Можно отдельно и специально рассматривать ее присутствие в различных институтах культуры: в религии, науке, праве, образовании, искусстве. Ни один из этих институтов не является автономным, несмотря на либеральную концепцию независимого существования искусства или религии. Их общим языком является идеология, и сам язык уже содержит в себе идеологию.

Конечно, в действительности все три момента – власть, культура, общество – сплетены воедино, но аналитически их можно разделить ради понимания этой ирреальной реальности. Чтобы стать зрителем и свидетелем происходящего, надо занять позицию, с которой можно что-нибудь созерцать, т. е. занять точку зрения, располагающуюся вне созерцаемого процесса, отвлеченную, умственную, – точку зрения умозрения. Как раз такое аналитическое приспособление из трех взаимосвязанных понятий (власть, культура, общество) даст нам возможность созерцания и рассуждения. Ничто из этих предметов не дано как самостоятельная реальность, они есть продукт той самой социальности, которую они и конституируют. Она их порождает, и они ее учреждают в этом процессе. Это взаимное порождение.

Тем не менее мы будем понимать под этими терминами следующее, ссылаясь на то, что это интуитивно ясно, т. е. на суждения здравого смысла, или на то, как это понималось другими.

Власть – способность принимать решение и навязывать его обществу или даже отдельному частному индивиду, способность менять направление «естественного» развития ситуации и применение этой способности. Власть в классическом понимании реализуется в отношениях господства-подчинения (Гегель и последующее развитие рационального понимания власти через «сознание»). Власть как подавление, доминирование одних людей или групп над другими. Есть субъект власти и объект. В основе власти лежит готовность принести в жертву другого и готовность самому подвергнуться риску – готовность к убийству и к смерти (с этого начинается рассуждение о господине и рабе в «Феноменологии духа»).

Или же, если понимать ее не классически: власть **не** есть ответственность, которую можно получить и охранять, пользоваться, а функция (М.Фуко). Она есть сумма стратегий, дисциплина, про-

низывающая собой все институты и тем связывающая их воедино. Она диффузна и реализуется в столкновении сил, в изменчивых диаграммах сил. Институты тоже властью не порождаются, а есть серийное ее производство. Иными словами, власть не имеет автора на земле, но нет его и выше. М.Фуко говорит о предрассудках относительно власти – якобы ею владеют как собственностью, или же она локализована в государстве или персоне, или что она осуществляется насилием и законом. Однако, согласно его идее, сам закон двусмыслен (не по содержанию позиций и статей, а по самой сути), он есть набор способов его же и обходить. У.Эко так комментирует идею власти Фуко: «В наше время Большой Брат, наблюдающий за нами, лишен лица (но мы-то перед “Братом” открываем свое лицо! – Т.Л.). Он не единоличен. Большой Брат это – глобализованная экономика. Так Власть у Фуко являет собой нечто неопознаваемое – комплекс центров, вступающих в игру и поддерживающих друг друга... Эта власть неопознаваема, она не имеет лица – то есть она непобедима. По крайней мере, подобную власть очень трудно контролировать»¹.

Надо добавить еще два момента – две акциденции. Первый: нередко идею власти как существенного определения социума натурализуют, но уже не в том смысле, что она якобы дана от природы, а в том, что ее распространяют на природу. При этом никогда не определяют точно, что под «природой» понимается, да это и невозможно, как невозможно определить никакое из всеобщих по форме понятий. Универсалии-фикции, подобные понятию природы, понятию весьма многозначному, границы приложения которого указать нельзя, как правило, производятся проекциями из внутрисоциального мира вовне, в то, что не освоено социумом. Это и называют природой. Поэтому идея власти над природой есть, по сути, стремление расширить границы социума. Парадоксы власти возникают из этого стремления расширить границы, раздвинуть их во внешнее, беспредельное, все растворяющее, в целях, например, познания и контроля (исследование, «разведывание», выход за данные возможности). Или же, с другой стороны, установление непроницаемых границ, замкнутого пространства социума и внутреннего пространства власти внутри социума в целях безопасности самой власти. Аристотель специально отмечал, что общество есть нечто самодостаточное, самоотждественное, очевидно, про-

должая в этом мысль Платона об идеальном государстве (мысль, восходящую к более древней, если не изначальной традиции). Таким образом, обе тенденции, центробежная и центростремительная, создают внутреннее напряжение для власти, по крайней мере в современном мире.

Второй момент: власть и сама есть некий информационный поток, и проявляется она как управление другими различными потоками – ресурсными, деятельностными, информационными и т. д., т. е., по сути, власть тогда становится созданием проектов и управлением их реализацией.

Комментарий

Надо отметить, что по-немецки власть *Macht* (власть, сила, мощь, государство), *Gewalt* (власть, насилие, от *walten*, господствовать, управлять), *Willen* – воля; по-французски *Pouvoir* (власть, глагол – мочь, т. е. это реализация возможности, *l'autorité*; авторитет, как автор события, *vouloir* – воля, хотеть, того же корня, что и *Gewalt* и *Willen*). В русском языке воля, власть и владение одного корня. Смысл этого слова в русском языке связан скорее с обладанием, чем со способностью реализации возможностей, скрытых или явных, приведением вероятности к действительности, и – как владение и воля – власть прикована (на какое-то время) к центру воли и владения. Поэтому мысль о рассеивании власти, о том, что у нее нет автора, есть плод определенного развития той самой культуры, в которой она реально успела рассеяться, где она отъединилась от воли и обладания. На первый взгляд, речь идет об одном и том же, но укоренены эти понятия на разной почве, поэтому и смысл в них вложен не одинаковый. Но в любом случае, даже если держателем этой функции власти оказывается коллективный «никто», на виду, в публичном пространстве есть тот, кто ее представляет. Исполнитель «партии власти» только оглашает эту партию, арию, он не ее автор, он только истолкователь обретенного места, точки приложения власти, интерпретатор.

Культура – символический уровень общения, создающий возможность понимания между людьми в совместном действии. Суть ее не в том, что она сохраняет и транслирует сквозь время

стандарты чувствования, воления и разумения. Это не только социальная память и не столько память вообще (такое понимание обусловлено современным изменчивым состоянием мира, расщеплением деятельности и установлением между распавшимися единствами новых, чаще всего неорганических связей; память лишь одна из функций культуры). Память хранится в другом месте – в социальном теле, Абсолютная память (о которой говорит Фуко) где-то рядом с Абсолютом (если его еще не окончательно отменили и он пока не умер), а в культуре есть только напоминания. Культура есть символический уровень общения, виртуальное производство способов общения. В ней есть все, что в социуме, но только в идеальном пространстве и времени, это существование макета по сравнению со стройкой. Принцип ее существования – неприкрепленность к конкретной ситуации. Ее «предметы» живут, плавают в ирреальном мире, сколь реалистичными (или даже реальными) они бы ни казались.

Общество – организация общения в совместной человеческой жизнедеятельности в самом широком смысле. Формы общения разнообразны – от организации частной жизнедеятельности, например, в семье (животный союз, по В.В.Розанову) до всеобщих установлений, например государство. Это определение ведет свое начало от Аристотеля. Недостаток его в том, что оно тавтологично, к тому же трудно определить (поставить границы), что есть само общение. Будем думать, что это интуитивно ясно. Аристотель в качестве признака «общества» выдвигал, как мы только что отметили, его самодостаточность, оно само себя всем обеспечивает; это некое целое, подобное хору или оркестру.

Аналогию между оркестром, музыкой и обществом заметили давно. В науке и литературе можно напомнить о М.Вебере, который в строении произведения видел символизацию социальных отношений, не говоря даже о Т.Адорно и его «Социологии музыки». В кино сразу же вспоминается «Репетиция оркестра» Феллини. И здесь интересно не то, что авторитарной власти дирижера противостоит своеобразная оппозиция оркестрантов или что внезапная внешняя сила разрушает стену здания, в котором происходит все действие (т. е. живет сообщество). Интересна сама аналогия жизни общества с репетицией, а не с исполнением, не с законченным произведением, а только с бесконечной и бестолко-

вой подготовкой. Самого произведения мы не слышим и никогда не услышим. Это не простое свидетельство, а диагноз состояния нашего мира.

Идеология и власть. Конечно, идеология есть инструмент власти, но и сама власть как искусство принимать решения и заставлять других их воплощать в жизнь абсолютно нуждается в идеологии, дабы не быть просто насилием. Самый худший вариант, когда со стороны власти предлагается и навязывается некая доминанта, т. е. единственная идеологическая концепция, причем не важно, будет ли она либеральной, религиозной или коммунистической. Да в современном мире это и невозможно – невозможно надолго. Долгожители в этой среде именно такие концепции, которые как бы выталкиваются из толщи информационной среды на поверхность, им приходится бороться за место под солнцем с уже устоявшейся доминантой. Этим занимаются отнюдь не властители (это две разные социальные и культурные функции), этим занимаются люди, обладающие мощной исторической и политической в широком смысле интуицией, т. е. идеологи, мыслители, философы. Кант был идеологом просвещения, Гегель назвал его даже идеологом Французской революции; Маркс был идеологом социализма. А Наполеон не был идеологом, он был деятелем, Дух на коне, как назвал его тот же Гегель, который мчался по зову духа войны. Никакой идеологии, кроме тотальной войны, он не создал. Конечно, это все характерно для западного мира, отпавшего от традиции, в которой все начала человеческой жизни – духовное, космическое, социальное, моральное, психологическое, родовое – были согласованы наилучшим образом. В нашу эпоху (эон) мы не встретим собственно традиционного общества, поскольку все человечество включилось в движение «спуска», как его обозначил Р.Генон².

Плотность идеологического поля, которая выталкивает из себя комплекс идей, требуемых временем, создается и присутствует как в публичном пространстве, так и в частной жизни, но ее присутствие бывает явным или скрытым, латентным. Мы, как правило, не осознаем, чем определяются наше мышление, поведение, чувствования, эмоции и настроения. Они определяются не только наличной ситуацией, но и схемами, складывающимися в течение всей нашей жизни, а также всей истории, к которой мы

неизбежно причастны через культуру и социальные формы жизни. История не есть только поток событий, это еще и насаивание схем мышления (менталитет), схем чувствования (над этим специально работает искусство, но причастны и другие формы культуры, религия, например), схем поведения (здесь большой вклад делают право, мораль и религия), схем общего отношения к миру (философия). Поэтому «ландшафт» этого информационного поля идей, во-первых, нередко переменчив, а во-вторых, специфичен и даже неповторим не только от страны к стране, но и от одного состояния во времени к другому. Движение в этом пространстве подобно движению Сталкера.

Идеология как информация, идеология как среда есть посредник (посредник от слова среда, то, что в середине) между социумом, культурой и властью, причем информация здесь понимается не технически, а онтологически, т. е. это не масса сообщений, вываливаемая с экранов телевизоров и из Интернета, не то, что циркулирует в СМИ. Не то, что можно подсчитать в битах и байтах, информация существует до того, как ее освоил человек, до того, как включилось его сознание, она есть, а человек есть ее производное. Как понять ее онтологичность? Я ее понимаю так: корень слова «информация» – «форма». Следовательно, смысл всего слова – обретение формы, иными словами, проявление того, что в непроявленном мире не имеет ни формы, ни имени, «в-формление», вкручивание в форму, проступание на поверхности проявленного мира. А уже дальнейшее усложнение или упрощение, развертывание в различных вихрях и узелках и параллельно считывание ее, распознавание, освоение идет во времени, т. е. в проявленном мире. Время как бы запускается вместе с проявлением информации. Мы суть тоже такие завихрения и узлы информации-времени. Мы живем в оболочке времени и суть информация, что в материальном смысле есть пустота.

Конечно, от такой абстракции метафизического уровня невозможно перейти к конкретному изучению идеологии как места жизни идей одним мысленным жестом, указывающим: вот информация, а вот она идеология. Процесс вкладывания форм друг в друга и спрессовывание их, коагуляция, если можно так выразиться, не поддается прочтению. Мы уже перед собой имеем «осадок» космического и исторического процесса, нам дано уже готовое со-

стояние (пусть и изменчивое, пусть и сплошь все в становлении, но «уже дано»). Из этого данного состояния мира нам предстоит высматривать свое прошлое, будущее и смысл существующего и происходящего. Вот задача идеологии, она этим и должна заниматься. Будучи миром идей, она предстает наподобие некоего турбулентного движения без начала и конца. И в этом смысле она есть единое информационное поле социума, ведь и социум, и культура, и даже власть носят информационный характер. Что такое социум? Это форма общения людей, как полагал Аристотель. А культура? Это символическое обеспечение этого общения. А что такое власть? Это способность принимать решения и возможность навязывать его другим, принуждать их исполнять эти решения. Но ведь решение это тоже информационный акт! Поэтому все эти три начала, с помощью которых мы понимаем то, как осуществляется совместная жизнь и деятельность людей, неразрывно связаны между собой. Не может быть социума без культуры, власти без социума и культуры и социума без власти. Это три стороны одной медали (орел, решка и ребро; ребро – это власть, приводящая в движение всю «монету»).

В этой теоретической конструкции идеология оказывается необходимым посредником между властью, культурой и социумом. Она как бы материал, из которого сделана эта монета (на ней волшебным образом все время меняются изображения). Как она исполняет свою роль – это зависит от многих обстоятельств, в том числе и в первую очередь исторических, от зрелости культуры, социума, от того, насколько власть обладает умом и широтой мысли, панорамным видением всего.

Большая доля ответственности лежит на самой идеологии, на составляющих ее частях, на тех элементах, которые включены во все институты культуры, о чем выше говорилось. В каждой стране в этом отношении есть свои особенности, ведь история у всех не одинакова. В нашей стране, к сожалению, обстоятельства сложились так, что и у власти, и у значительной части населения существует недооценка и даже какое-то пренебрежительное отношение к интеллектуальной деятельности, в частности к философии. Доминирование религии и ее идеологическая монополия в нашей стране продолжалась вплоть до XX в. Философия же запрещалась в университетах и вообще считалась ересью. В СССР допускался

только марксизм. Т. е. философии так каковой фактически не было. А ведь философия – это самостоятельное и свободное мышление. Только такое мышление может видеть и открывать новые возможности, целые поля новых возможностей, оценивать то, что должно быть устранено, а что развернуто и развито. Только такое мышление способно занять относительно объективную позицию, т. е. более или менее отстраненную от «злости дня». Такая способность, даже если она тебе дана от рождения, насильственно гасится любой монополией в идеологии. А это означает заведомый проигрыш, что и происходит постоянно с нашей страной. Потому что у «несовершеннолетних» в интеллектуальном смысле нет никакой, а тем более собственной философии, и просто некому занять отстраненную, и даже отрешенную, но при этом компетентную точку зрения.

Идеология не есть раз и навсегда данное состояние мира идей, она должна быть пластична, подвижна (речь, конечно, не идет о мире традиции), но при этом укоренена в том, что называется духовной жизнью. Необходимо только отметить, что духовное ни в коем случае не тождественно религиозному, а нередко и противоположно последнему. И хотя само слово «духовное» настолько затерто, что и произносить его как-то неловко, но другого подходящего слова пока нет. Иными словами, идеология имеет свою метафизику, ее корень, ее принцип в самой метафизической природе человека.

Информационная среда социума, возможно, организуется сама, но без понимания этого процесса и без участия самостоятельного мышления, поляризующего и намагничивающего эту среду, мы оказываемся дезориентированными, невменяемыми, как несовершеннолетние, легко поддающимися тому, что Р.Генон назвал неким сортом коллективного гипноза, в котором находится весь западный мир. Этот гипноз заставляет принимать ложное за истинное, существующее за несуществующее и наоборот, благо за вред и т. д., что напоминает суфийскую притчу о «сумасшедшей воде»³. И как раз для такого состояния западного мира определяющим является характерное деление на публичное и частное пространство в том виде, в каком оно встречается именно здесь и которого не было в традиционном обществе.

Публичное есть сфера общения, в котором все участники не выступают в «домашнем» облике, они здесь не у себя дома. Они вышли вовне, надели платье, другую одежду, нарисовали себе

лицо, маску и заняли позицию перед неким связным целым, обществом. Это существенным образом есть эстетическая позиция представления себя другим и всему, невидимо присутствующему сообществу, миру, который не есть дом. Не напрасно говорят, что жизнь это театр. По сути, это противопоставление внешнего, публичного – внутреннему, домашнему. И судьба этого понятия меняется в зависимости от геометрии, топологии, которую используют для передачи своего жизненного опыта философы, а также в зависимости от общей социологической концепции. Сейчас многие говорят уже не о театре, а о шутовстве: «Общество... не пытается спасти бедных телевизионных шутов... Напротив, общество подзуживает их, как некогда оно подзуживало карликов и бородатых женщин, которых показывали на ярмарках. Несомненно, что перед нами преступный факт... Восславленный своим явлением на экране, телевизионный Недоумок становится эталоном жизни. Если позвали его, значит, могут позвать любого. Выставление напоказ ничтожества убеждает публику, что никакое, даже самое постыдное невезение не обречено оставаться тайной личной биографии и что обнародование этого стыдного будет вознаграждено... Все становится красивым, даже уродство, если оно вынесено на телеэкраны. Помните в Библии? И сказал Безумец в сердце своем: нет Бога (Пс. 52:2). Телевизионный Недоумок горделиво утверждает: есмь Я»⁴. Публичная жизнь превратилась в театр абсурда. «Есмь Я» – утверждение не столько индивидуального существования, сколько конструкции в нашем сознании, называемой «ложное эго»; с точки зрения Единой Традиции (для Запада ее раскрыл Генон, а для современного «театра абсурда» пояснил в этом аспекте Ошо) ложное эго, «я» и индивидуальные особенности, сфокусированные вокруг этого ложного центра сознания, исчезают при первых же шагах посвящения, при пробуждении духовной природы человека. Ошо называет это «Я» убийцей, что и понятно, ведь оно – единственное, никто другой не есть «я», следовательно, все другие должны уйти, ведь «Я» полагает себя единственным достойным существованием (и собственности, «Я и его собственность»). Индивидуализм, атомизация социального тела (фактически его распад) неоднократно назывались болезнью эпохи. Но корень зла не в самом явлении, не в устройстве социума, не в стандартах культуры, все это лишь следствия. Как показал Рене Генон в своих замечательных работах,

в частности в книге «Царство количества и знамения времени», причину надо искать в отпадении западного мира от единой духовной Традиции, начало которого совпадает с расщеплением социального и духовного, морального и духовного, возникновением религий как института, иными словами, отпадением от метафизического принципа, с чем связано разделение на эзотерическое и экзотерическое. В традиции такого разделения не требуется, оно возникает как защита от пагубных влияний «тьмы внешней, где плач и стоны, и скрежет зубовный». Метафизический принцип Единого универсального существования уходит из сузившегося поля зрения современного человечества и становится недостижимым. Возникает современный мир со всеми его различиями и подробностями, в том числе и с разделением на публичное и частное пространство. Причем по контрасту с античностью, когда связь с Традицией еще не была утрачена окончательно, а публичное пространство было местом свободы, философии, самостоятельного мышления (не для всех, конечно), тогда как «дом» был местом несвободы, насилия и принуждения, в современном мире публичное пространство стало местом «коллективного гипноза», психологического насилия, принудительного общения, обмана, а «дом» не очень надежным убежищем, в которое все «публичное» проникает безо всякого труда. Теперь мы повсюду созерцаем дурную игру в публичном «театре абсурда».

На тему «публичного и частного» меня натолкнула книга Ханны Арендт «Лекции по политической философии Канта»⁵. Целью ее теоретической деятельности было моделирование нетоталитарной вселенной (П.Рикёр). Общество, согласно ее концепции, характеризуется балансом между публичностью и приватностью⁶, человек реализует себя как в общественно-гражданской, так и в частной сферах. Баланс в пользу публичности, свойственный тоталитарным обществам, предельно расширяет границы официальной легитимности, до минимума сводя возможности проявления себя в частной сфере. Разрушение границ между публичным и частным уничтожает индивидуальность. К этому мы еще вернемся после пояснения эстетической природы публичного пространства. Причем здесь значимо не столько эстетическое любование, сколько именно эстетическая способность суждения, точнее, суждение вкуса. Понятно, что в публичной сфере совре-

менного мира, пропитанной «сумасшедшей водой» из суфийской притчи, и вкус, и эстетические суждения вообще вывернуты наизнанку, здесь все *vice versa*.

В классическом понимании способность суждения, согласно Канту, есть посредник между чистым и практическим разумом. То есть она выступает в роли, аналогичной роли схемы из Критики чистого разума (схема ведь тоже посредник между понятием и данными чувств). Рефлектирующая способность суждения (вкус и телеология природы) не подводит особенное, частное под общее определение, а исходит из особенного и к нему же возвращается. При этом такое суждение должно быть объективным. В каком смысле? Как это возможно, если здесь общее не дано рассудку? Оно возникает в общении и должно быть общезначимым, общепонятным и приводить к согласию; т. е. в рефлектирующей способности суждения, а эстетическая способность суждения именно сюда и относится, речь идет не об истине, а о согласии. Как это возможно, если нельзя заранее определить общее? Тут происходит расслоение смысла понятия «общее». Общее в логическом только отношении и оно же, но в социологическом – общее для многих людей. Оказывается, последнее возможно потому, что существует не только разум, действующий по определению априорно для всех по одним и тем же законам, но и «общее чувство», позволяющее передавать в общении не только знания (в понятиях), но и переживания души, чувства. Представлять их. Рефлектирующая способность суждения действует в области здравого смысла, мнения. Однако существует не только общее чувство, которое объединяет пространство здравого смысла как бы снизу, но и «никому не известный источник свободы в нашем разуме» (ноумен), к нему тоже отсылает эстетическая способность суждения, а точнее говоря, суждение вкуса (вообще органов чувств, т. е. впечатления), как если бы мы могли знать этот неведомый источник. Но мы о нем только догадываемся и предполагаем его существование, исходя из реалий нашей нравственной природы. Таким образом, «неизвестный источник свободы в нашем разуме», с одной стороны, а с другой – «общее чувство» замыкают то поле частного, особенного, вариативного и переменчивого, что образует общение и с чем мы выходим в публичное поле мнения. Мы общаемся не на его полюсах, а именно в этом поле, в котором частное становится

общепонятным. В русском языке «чувство» – это и ощущения, и сантименты. Так оно и есть в поле общения. Оно сложно устроено, в нем конкретные, частные лица действуют и общаются отнюдь не произвольно, но по тем схемам чувствований, волений и схемам, организующим потоки мысли, которые складываются в течение всей истории данного общества, судьбы каждого человека и всего жизненного цикла человечества, обретающегося в настоящее время на Земле. Иными словами, пространством общения правит вся история, все время с его схемами, при этом последний источник правления остается неизвестным и, конечно, недоступным, как бы мы ни старались поставить себе на службу «Золотую рыбку», хозяйку бесконечного причинного Океана, океана возможностей. Это невозможно!

Комментарий

Вообще любая дисциплина как часть философии есть только точка зрения, поскольку у философии нет своего частного предмета, она и не может распадаться на части. А на «всё» можно смотреть с разных точек зрения. В том числе и с эстетической. Но какова эта точка? Если с этой точки увидеть одновременно идеологию и то, в чем она замешана, то это может быть только точка зрения науки о суждении на основе чувств, т. е. сентиментальной науки. Сентиментальное воспитание, *L'Education sentimentale* Гюстава Флобера – этот роман считается образцом стиля и вкуса, а в нем есть и политика, и любовь, чувства. Тема любви и стремления к власти позже становится чуть ли не банальной, в особенности когда речь идет о темах: поэт и общество, гений и власть, свобода творчества. Это, конечно, темы западной культуры, и, как правило, трактуются они крайне просто – власть мешает свободно творить; далее мысль не продвигается. Роман XIX в. вообще – это пространство публичного, в нем рождаются стили общения, где жизнь чувств не только на фоне политических событий, они были вклеены друг в друга (суперроман «Война и мир» Л.Н.Толстого), а теперь отслаиваются. Вкус и стиль остаются еще убежищем, и от них ждут утешения (вплоть до времени эстетизма, декаданса). Музыка и вообще искусство обращено теперь к публике, домашнее

музицирование и домашний театр существовали для «собственного удовольствия», а теперь цель их – успех, а значит, борьба в символическом пространстве публичного за наращивание символического (и не только!) капитала. Стиль и вкус – специфические характеристики французской культуры. Кант в «Антропологии с прагматической точки зрения» пишет: «Французский народ характеризуется наибольшим вкусом в общении; в этом отношении французы – образец для всех других народов... Француз таков не из какого-то личного интереса, а из присущей ему непосредственной потребности и вкуса к общению; а так как этот вкус главным образом проявляется в общении с женщинами высшего круга, то французский язык стал общим для этого круга; и вообще нельзя оспаривать того положения, что склонность такого рода должна содействовать услужливости, благоволению, готовности оказывать помощь, и постепенно должна способствовать общему человеколюбию из принципа и делать такой народ достойным любви. Обратная сторона медали – это их живость... Сюда же относится и заразительный дух свободы, вовлекающий в свою игру даже разум и в отношениях народа к государству вызывающий все потрясающий энтузиазм, который переходит самые крайние границы...

Слова *esprit* (вместо *bon sens*), *frivolité*, *galanterie*, *petit maître*, *coquette*, *étourderie* (**ветреность**), ***point d'honneur*** и т. п. **нелегко** перевести на другие языки, ибо они обозначают скорее специфические черты чувственного характера народа, употребляющего эти слова, чем предмет, который представляется тому, кто мыслит»⁷. То есть это предмет не столько самой мысли, сколько способности суждения. Универсальное чувство (чувство стиля) было присуще этому народу, и оно есть та самая основа правильного суждения. Но всепоглощающий рынок теперь уже полностью «отбил» у всех вкус и сломал, отменил стиль. В публичном пространстве этот образец, «достойный любви», как-то незаметно сошел со сцены, ныне даже приветствуется привкус пошлости, низкий стиль.

Наука об эстетическом суждении – сентиментальная наука. При этом суждение следует из «созерцательного удовольствия», из «бездеятельного восхищения» (по Канту). И как раз это восхищение (восхитить – это почти то же самое, что и похитить, а что похищается? Нечто дорогое, мое уединение) и удовольствие есть сила и энергия, которыми заряжено публичное пространство. Если Ханна

Арендт в книге «Vita active» говорит о пространстве публичного и сфере частного, разделяя их по признаку, где присутствует свобода, то можно сказать, что для современного мира эта граница уже стерта. Традиционный деспотизм, по ее мысли, требует «изоляции» индивида, лишая людей способности к политическому действию. При тоталитаризме это лишение должно быть дополнено «одиначеством» – внутренним саморазрушением способности самостоятельно мыслить. Идеальный подданный тоталитарного режима не различает истину и ложь, иллюзию и действительность.

Однако суждение очерчивает поле смысла в пространстве публичного. Или – создает утешительную иллюзию его присутствия.

Если вернуться к Канту, то для него «публика» была прежде всего «читающая публика», к которой философ обращается в свободе своего мышления, без всякой цензуры. Цензура вступает в свои права тогда, когда другие, специализированные факультеты (департаменты) обращаются к публике. Например, пастор в качестве духовного лица ограничен догмой своей религии, это его цензура, но в качестве философа, на кафедре философии, он имеет право на свободу мысли и высказывания. Но, конечно, этим не исчерпывается пространство публичности. Кант – либерал, его симпатии были на стороне Французской революции⁸ (хотя он и ужасался присущему ей насилию).

Бертран де Жувенель в книге «Власть: естественная история ее возрастания» убедительно показал, что в истории в параллель возрастанию власти возрастает насилие. Только малые сообщества связаны непосредственными формами общения. Большие общества есть результат возрастающей Власти, которая повелевает, и есть господство, достигаемое Войной и насилием. Война возрастает вместе с Властью, которая, как Минотавр, поглощает своих жертв миллионами. Чистая Власть есть «повеление, существующее *само по себе и для себя*»⁹. Однако «эгоизм повеления ведет к своему собственному уничтожению», поэтому Власть вынуждена «сохранять свою силу в разумном соотношении с массой поработанных». «Она всегда ищет лишь собственного могущества; но путь к могуществу лежит через служение»¹⁰. В истории прогресс Власти есть прогресс войны, и наоборот, прогресс войны есть прогресс Власти. Одновременно набирает мощь и тоталитаризм (в том числе и не в последнюю очередь тоталитаризм либерализма и де-

мократии, которые суть лишь прикрытия целей Власти и ее самоутверждения). Война становится тотальной (тотальное отождествление нации с армией, даже сама человеческая мысль «мобилизована на службу завоеваниям, дабы провозглашать цивилизаторскую добродетель палачей и поджигателей»¹¹). И хотя эти слова были написаны более полувека тому назад, ничего не изменилось, а если изменилось, то не в лучшую сторону. «Все вкладывается в войну, потому что Власть распоряжается всем»¹². У Гоббса в его идее войны всех против всех оказалась обратная перспектива – тотальная война не в начале истории, она на горизонте, но уже вполне реальна. Народ остался без защитников от государства, против которого оно непрерывно ведет войну. А народ – это все, кто не государство (по определению К.Шмитта).

Ясно, что Кант в вопросе о войне, которая сопровождает всю историю человечества, был на стороне мира. Эстетическое суждение, однако, предпочитает воина, а не государственного деятеля (в Критике способности суждения, т. е. это суждение «зрителя»): «Даже война... содержит в себе нечто возвышенное... Напротив, продолжительный мир обычно делает господствующим один лишь торгашеский дух, а вместе с ним низменное своекорыстие, трусость и изнеженность и снижает образ мысли народа»¹³. И хотя война есть одна из побудительных причин развивать все таланты, но морально-практический разум произносит свое неотменимое *veto*: никакой войны не должно быть.

То же отношение к Французской революции – ее смысл возвышен, она открывает возможности для прогресса, свободы, будущего (светлое) для последующих поколений, она дает Надежду на будущее. Но с точки зрения принципов действия она то же, что и война. Ее не должно быть. Судьба смиренных ведет, а строптивых – тащит: по Канту это не судьба, а сама природа, механизм истории – ПРОГРЕСС. Позиция философа – это позиция Судьи, Трибунал Разума. Прогресс – бесконечная цель, без него история абсурдна. В противоположность грекам, для которых каждая частная история в самой себе содержит свой смысл и свою цель – до смерти никого нельзя назвать счастливым (Солон), весь смысл уже здесь, внутри самой частной истории, для просвещения – смысл на горизонте, вдали. Субъектом истории для Канта является сам человеческий род, как для греков – непосредственные участники со-

бытий, герои, хотя в трагедии тоже разворачиваются события рода, но конкретного, а не всего человеческого рода. У Канта история бесконечна, точнее, она заканчивается вечным миром (вечным покоем); у Гегеля и Маркса – история имеет конец, конечно, счастливый по понятиям каждого. Что же после этого делать, возникает законный вопрос?

И еще один момент в концепции Канта: противопоставление публичного – тайному тоже в работе «К вечному миру»: «Тайная статья договора о вечном мире»: «Государства, вооружившиеся для войны, должны принять во внимание максимы философов об условиях возможности вечного мира»¹⁴. «Нельзя ожидать, чтобы короли философствовали или философы стали королями, да этого и не следует желать, так как обладание властью неизбежно повреждает свободное суждение разума. Но короли или самодержавные (самоуправляющиеся по законам равенства) народы не должны допустить, чтобы исчез или умолк класс философов, а должны дать ему возможность выступать публично; это необходимо и тем, и другим для внесения ясности в их деятельность. Нет основания подозревать этот класс в пропаганде, так как по своей природе он не способен создавать сообщества и клубы»¹⁵.

Из политической философии Канта можно вывести не только утешение, обещанное способностью суждения, но еще и перспективу Будущего человечества где-то на горизонте истории – морального, свободного, где каждый есть человек как цель в себе и гражданин мира. Это важный момент, отличающий эту концепцию от более поздних. Возможно, что это возможно – но чтобы это действительно стало возможным – необходимо укротить Минотавра, о котором нам повествовал Б.де Жувенель.

Если пространство публичного для Арндт организуется способностью суждения, то для Хабермаса – это пространство практического разума. Принципиальная разница, поэтому у Хабермаса в тоталитарном обществе (коим является почти любое современное общество в силу его коммуникативной некомпетентности, патологического осуществления власти), пространство публичности сжимается, за счет расширения системы, а для Арндт – что интересно – оно расширяется (изменяя свою природу от «политии» к монолиту массы) и поглощает частную жизнь, чем можно объяснить отказ от собственного мышления и соизволения, свой-

ственный массам. Что же это за пространство такое? Только ли доступная информация и разные «свободы»? Я думаю, что источник таких концептуальных несовпадений в том, насколько по-разному понимается общение. Общение – это и есть и общество, и культура, и государство и все-все-все, в чем ему случилось образовать осадок, наслоиться; в языке, в его формах и в «глубине» самого слова тоже отпечатана история и формы общения; отсюда – борьба интерпретаций и борьба классификаций (которая есть классовая борьба, согласно П.Бурдьё). Однако общение не исчерпывается языковой коммуникацией и не есть общение индивидов-атомов. Протест постмодерна – со стороны «тела», поэзии и Диониса – старая песня, еще «Вакханки» Еврипида демонстрируют восстание против трезвого разума в лице Панфея. Отрезвление неизбежно. Но суть в том, что трезвое, разумное, рациональное, здоровое отнюдь не сводится к действию по правилам, пусть и хорошим, не контролируется оно нормами. Вообще это не только отношение цель-средство. Норма – это лишь свидетельство вовне, медицинский диагноз, но не само здоровье. Полноценное общение было бы, наверное, наилучшим «гарантом» хорошей жизни в обществе. Но в чем его полнота? Восстание постмодерна против целого, единого и универсального есть протест против диагноза, а не против болезни, о которой может быть никому еще и ничего не известно.

Согласие людей между собой и каждого с самим собой обретается, как считает Хабермас, в их дискурсивной практике, в пространстве публичного. Общественная сфера сложилась в начальную стадию развития капитализма, экономическая независимость нового класса открыла возможность критического мышления и всего того, что привело в конечном счете к публичности и демократии. Эта публичное пространство находится между экономикой и государством. Постепенно оно сжимается между разросшимся государством и организованными экономическими интересами, обслуживая корпоративные интересы и государство. Коротко говоря, Хабермас предложил концепцию рационализации общения, следующую из самого состояния общества, т. е. из того, что случилось с общением.

Понимание общения как взаимодействия индивидов, подающих друг другу знаки, или же как чего-то, что существует в промежутке между этими атомами, приводит к разным представлениям

о социальности и, соответственно, к разным диагнозам ее. Не все равно – я говорю или мною говорит язык. Общение есть и тогда, когда язык безмолвствует – в молчании.

Но настоящую анатомию общения развил Пьер Бурдьё, анализируя практическое чувство, стратегии поведения, габитус. Габитус – система прочных приобретенных предрасположенностей (*habitus* – внешность, одежда – лат.). Схемы представлений и поведения, система этих схем, порождающая и структурирующая практику.

Социальный мир предстает как символическая система, пространство стилей жизни и групп по статусу, характеризующихся разными стилями жизни. Но есть и степень неопределенности в распределении символического капитала, значит, и борьба за символическую власть производить и навязывать легитимное видение (восприятие) мира (социального). Символический капитал в борьбе за здравый смысл (признание) имеет ценность, как правило, в пределах социального поля. Символический капитал может быть признан юридически, например, через систему образования. Официальная номинация есть одно из наиболее типичных проявлений монополии легитимного символического насилия, которая принадлежит государству или его официальным правителям. Каждое поле имеет свою логику борьбы за символический капитал, за видение социального мира. Получается, что «идеологий» столько же, сколько социальных полей, политическая идеология просто одна из «полевых», но есть общее для всех то, что все они пользуются «вкусом», т. е. интуитивной оценкой что такое хорошо и что такое плохо, но только она специфична и гомогенна соответствующему габитусу. В этом смысле публичное оказывается не обязательно осознаваемым, оно может быть даже неопределенным, но рассредоточенным по всем полям и всему социальному пространству. Внутри поля – свое публичное пространство, и то, что мы называли частным – тоже публично, ведь оно задано общими габитусами. Человеку негде скрыться от других и от самого себя, даже в своем частном пространстве.

Комментарий

Можно предположить, что идеология в коммуникационных сетях пульсирует, как кровь в сосудах нашего тела. Социальность (как история, прошлое) впечатана в тело, все прошлое впечатано

в нас, поэтому мы мир в мире, и частное с общественным различаются не где-то вне, а в нас самих (а раз история есть непрерывная война – мир есть только временное перемирие, – то война в нас присутствует как наш внутренний демон, как маниакальная жажда власти; вкус же и стиль суть средства сделаться «другом своего внутреннего дьявола»). Приватное, т. е. лишенное. Чего мы себя лишаем в приватном? Участия в истории? Это невозможно, мы лишаем себя актуализации своего прошлого и будущего в приватном. Но в публичном мы тоже чего-то лишены. Лишены возможности «быть собой», т. е. мы работаем с габитусом (своим демоном), в его пространстве и на его границах. Мы там лишены покоя («на свете счастья нет, а есть покой и воля», да, именно того самого). А в частном лишены широкого поля действия, широкого мышления, ведь широта есть способность встать на точку зрения другого, а если нет другого, то не на что и встать. Публичное – это борьба за чужие точки зрения, за их присвоение как символического капитала.

Как пространство публичности не может исчезнуть окончательно, оно есть всегда, так и приватности, частного; но они «наезжают» одно на другое, создавая причудливые конфигурации, сложную топологию, которая во многом и провоцирует изменение социологических и философских теорий общества и власти, общества и культуры. Поэтому оценки соотношения бывают прямо противоположными в разных теориях – у них разные «точки зрения» в буквальном смысле.

Почему Х.Арендт не могла завершить свои «Кантовские лекции»? То, что она называла «тупиком», было не теоретическим затруднением. Стена, в которой нет проема, это «конец истории», который провозглашался многократно. Конец истории как идеальное «космополитическое гражданское общество» Канта, маячившее где-то на горизонте неопределенного будущего времени. Или же реализованное в религии Человечества О.Конта, или же у Гегеля как «царство свободы», обеспечиваемое идеальным государством. Это имеет основание, так как личная жизнь «творца истории» (в любой сфере человеческой жизни, вообще творческой личности) завершается в будущем, которое никогда не наступит. Это никакого отношения не имеет к утопии, это у-тампия, вневременье. Творец выпадает из времени на выдохе, в завершающем аккорде своего

творчества. Здесь можно вспомнить противопоставления гения и таланта, гений выходит за любые правила, дает новый закон (он – законодатель, создает Новое Небо и Новую Землю, как мечтал, например, А.Скрябин в своей Мистерии, вместе с В.Ивановым они в восторге грезили о вселенском огне, который сожжет весь мир, чтобы очистить место для нового творения, духовного, как натуральные зороастрийцы); гений выходит за границы времени; талант же творит внутри данного нам мира, вовсе не желая ничего разрушать, в сфере хорошего вкуса. Новый Закон, который гений полагает как законодатель, выходит за пределы времени, в котором законы неизменны и образуют ту зеркальную стену, на которой, метафорически говоря, таланты и прочие производители культуры «вывешивают» для своей публики произведения. Эта «зеркальная стена» подобна пределу, до которого может быть расширена публичность, определяемая применением способности суждения. Публика философа не та же самая, что публика музыканта, или теолога, или проповедника, или политика, хотя она может состоять из одних и тех же людей. Она есть независимое от частной сферы пространство общения. Для философа – это оазис выражения свободного мышления. Для политика – множество людей, которых надо убедить и внушить им свои мнения. Для музыканта – это выход из своего интимного мира вовне. Вовне он выражает свое целостное переживание бытия; внутри – это «абсолютная музыка»; музыка, которая озвучивается для других, совсем не та же самая музыка. Человек музицирует дома для самого себя; он частное лицо. Для кого-то внешнего, для слушателя – он публичный деятель культуры, независимо от количества слушателей, если это не его «домашние», составляющие частное пространство его жизни. Символическим моментом является переход от камерной музыки к концертному исполнению, т. е. возникновение публики для музыки, отделенной от представления. Публики различаются не только границами внутренней и внешней цензуры, но и по той модальности, в которой к ней обращаются «идеологи», субъекты, формирующие поле смысла для способности суждения. Правда, границы между частным и публичным исторически не закреплены. Самое сложное в оценке применения способности суждения, т. е. в оценке таких исторических явлений, когда схемы понимания и объяснения, категории, предпочтения и убеждения, выработанные

в предшествующие времена, не применимы, когда определенные параметры получают бесконечное значение, что означает крах теории. Это, а именно факт появления тоталитарных государств, привело Хану Арендт к поиску «проема в стене», выходу из тупика, который возник вследствие невозможности понять с привычных моральных и философских позиций эти мрачные исторические явления, бессилия культуры перед лицом истории, как некогда наблюдение за «злонамеренностью» человеческой природы побудило Канта отодвинуть свой проект «космополитического гражданского общества» за различные горизонты истории, в бесконечность.

Конечно, «стена» есть лишь метафора, но ведь и понятия «социального тела» (О.Конт, задавший отправную точку для социологии), «социального поля» (П.Бурдьё, М.Фуко) тоже метафоры. Да, по сути, все понятия социологии – метафоры, взятые из предметного, физического мира или из геометрии; без них социальность понять невозможно.

Власть, культура и общество, все они говорят на своих языках, но общим языком для них, общим полем взаимодействия является то, что мы называем идеологией, вообще некоего идеального места, места, где пребывают идеи, «умного места», по выражению Платона. Мы знаем, что «идеологический пейзаж» есть необыкновенно сложное образование, наподобие сложно пересеченной местности, прихотливого ландшафта. Но это смысловой ландшафт, где только малую его часть можно обзреть невооруженным глазом и то только окрест себя. Допущение, что и все остальные участники общения «видят» тот же самый смысл, что и мы, является, конечно, крайне произвольным. Необходимым можно назвать только то, что такое поле существует и, значит, существуют люди, способные в нем перемещаться, мастера этой смысловой игры, которых мы называем идеологами. Здесь возникает понимание идеологии как фразеологии, точнее, оно примешивается и выходит на первый план, отвлекая на себя всеобщее внимание. Именно идеология как фразеология подвергается критике, деконструкции и пр. Само «место для идей» можно разрушить только вместе с культурой, которая есть развертывание мыслью неограниченных возможностей бытия. В этом смысле она есть свобода мышления, и только через ее посредство возможна любая другая свобода (социальная, политическая, духовная и какую еще только можно придумать).

Важно отметить, что на этом поле нет прямолинейности, а может быть нет даже и линейности, но доктрины, убеждения, страсти, мифы, воспоминания, проекты, личности, символы – все крутится в этом поле идей, где взаимодействуют умы, одаренные способностью суждения в высшем, проработанном состоянии, т. е. вкусом. Идеология поэтому есть не только проводник решений власти (как бы эту власть ни понимать, традиционно или в духе постмодернизма), в ней осуществляется и обратная связь, ведь культура есть как раз то место, где вырабатываются, производятся идеи. Общество, т. е. организация общения, всегда запаздывает по отношению к тем событиям, которые происходят в процессе этого производства идей. Разумеется, что его инерция не абсолютна, и оно тоже посылает свои запросы через посредство идеологических возмущений, протестов, сопротивления в сторону власти и вообще культуры.

Три начала (власть, культура, общество), конечно, выделяют-ся только аналитически, в реальной социальной действительности они неразделимо переплетены. Они – разделенные по модальности – соответствуют необходимости, возможности и действительности. Исторические события XX в. – тоталитаризм и массовое общество, мировые войны, – показали, что надежда человечества, культура, из пространства возможностей превратилась в свою противоположность, в цепную реакцию закрытия многих возможностей, прежде всего возможности самостоятельного мышления. Частная жизнь также сжимается в своем объеме – человек дома у телевизора или за компьютером есть человек массы, он часть публики, деградировавшей до «тождества неразличимых»; соответственно, понимать культуру стало возможно только как коллективную память, как систему норм, стандартов, наконец, как музей. Если что и умерло, то не человек, не «история прекратила течение свое», а именно собственно духовное измерение культуры. Духовное стали понимать как искусство, церковь, даже науку и прочую не совсем материальную деятельность. Все произошло точно в согласии с предсказанием О.Конта об окончании метафизической ступени развития общества. Метафизика¹⁶ умерла, увлекая за собой возможность вообще духовной жизни. Зеркальная стена чистого разума отделила настоящее от будущего, но рациональность есть самая что ни на есть иррациональная идея. И в зазеркалье стали проецировать разнообразные фантастические картинки в зави-

симости от мастерства того, кто показывает «кино». Из зазеркального «кино» возникают чудовищные проекты «идеального общества», и они реализуются в «*totalité*» конкретного сообщества.

Власть нуждается в признании со стороны общества и со стороны культуры. Посредник – идеология, – подобно посреднику в торговом обмене, разными приемами, приспособлениями и устройствами «набивает цену» тем или иным силам, претендующим на обретение власти или сталкивающимся в бесконечном танце с диаграммами.

Как писал И. Кант, человечество делает все возможное для своего уничтожения, но существует некая сила, которая останавливает его от окончательного разрушения. Он думал, что это моральная сила. Вряд ли было бы ее достаточно, чтобы остановить человечество перед окончательным самоубийством.

Примечания

- ¹ Эко У. Полный назад! М., 2012. С. 158.
- ² См. в нашем сборнике перевод глав из книги Р.Генона «Общее введение в изучение индуистских доктрин», а также все его книги. Они все посвящены традиции. Также см. в нашем сборнике статью В.В.Малявина «Править потихому», посвященную культуре Китая.
- ³ В одном городе за одну ночь вся вода была заменена на такую, испив которую, люди сходили с ума, искаженно воспринимая реальность. Некому человеку накануне явился Хизр (или Хидр – таинственный персонаж суфизма) и предупредил его о воде. Тот набрал воды во все сосуды и бассейны и стал пить только «нормальную» воду. Выходя на улицу, он удивлялся, почему окружающие не понимают очевидных и простых вещей. А все жители города начали считать его сумасшедшим, ведь он все делал неправильно, по их мнению. И смеялись над ним. Со временем ему надоело такое положение, и он тоже испил «сумасшедшей воды». Если эту притчу понять как аналогию нашей темы, то он вступил в пространство публичного.
- ⁴ Эко У. Полный назад. С. 167–168.
- ⁵ Арент Х. Лекции по политической философии Канта. СПб., 2012.
- ⁶ Приватность в буквальном переводе означает лишенность. Чего лишается человек в приватном? Общения с другими в публичной сфере, где он узнает себя как другого, как личность, а не только экземпляр родового потока. В этом смысле женщина в андрогенном социуме начисто лишена личностного общения – она остается «у себя дома», она только приватный человек, элемент родового потока, физиологический объект, что удивительным образом отражено в лирической любовной поэзии (ножки, ручки, глазки, стан и пр.).

В современном социуме, который не перестал быть андроцентрическим, женщина, выходя в публичное пространство, как самостоятельный субъект, вынуждена подстраивать себя под соответствующие, чуждые ей стандарты. Таким образом, становясь публичным актором, она остается «лишенной», приватной, а, как считает Арендт, жить – значит быть среди людей, умереть – перестать быть среди людей. Сфера публичности делает человека человеком. Именно здесь и только здесь – а именно в сфере политики – возможен такой феномен, как свобода. Именно здесь нет места для женщины, т. е. она лишена свободы, а следовательно, главного достоинства человека, лишена человечности. Получается, что одна половина человечества оказывается нечеловеческой. Исключения, подобные Индире Ганди, да и самой Ханне Арендт, только подтверждают правило.

⁷ *Кант И.* Антропология с прагматической точки зрения. М., 1999. С. 418–419.

⁸ Сийес, один из основателей якобинского клуба и впоследствии влиятельнейший член Конституционного собрания, знал Канта и писал к нему, что «изучение французами его философии станет завершением революции». В любом случае, ко времени революции все *Критики* уже были созданы и изданы. А дух кантовской философии – это свобода: «Превращать в принцип то положение, что для подчиненных властям свобода вообще не годится, – это уже вторжение в сферу власти самого божества, которое создало человека для свободы» (*Кант И.* Религия в пределах только разума, часть 4, 2-й раздел, § 4, примеч. // *Кант И.* Трактаты. СПб., 2006. С. 412).

⁹ *Жувенель Б. де.* Власть: Естественная история ее возрастания. М., 2011. С. 149.

¹⁰ Там же. С. 155–156, 159.

¹¹ Там же. С. 214.

¹² Там же.

¹³ *Кант И.* Критика способности суждения. М., 1994. С. 133.

¹⁴ *Кант И.* Соч.: В 4 т. Т. 1. М., 1994. С. 427.

¹⁵ Там же. С. 429. И еще: «Государственная мудрость... вменит себе в обязанность... провести реформы, соответствующие идеалу публичного права; революциями же, когда их осуществляет сама природа, [следует] пользоваться не для оправдания еще большего угнетения, а как призывом природы к тому, чтобы путем основательной реформы осуществить единственно прочное правовое устройство, основанное на принципах свободы» (с. 439). Злонамеренность коренится в человеческой природе. Сама природа через закон и прогресс принуждает человека к добру.

¹⁶ Правда, сам Кант понимал метафизику как чисто отрицательное состояние, в социальном плане чреватое революциями. К его времени она – вследствие известного коперниканского переворота – действительно превратилась в нечто отрицательное, в произвольное конструирование систем и всевозможного «потустороннего».